



## **М. В. ВИШНЯК**

### **Сорок лет**

Так случилось, что каждая следующая «декада», отдалявшая нас от февральской революции, давала мне повод и возможность откликнуться на нее в печати. Перед тем, как сделать это в четвертый и, надо думать, в последний раз, я просмотрел свои отзывы о Феврале в 1927, 37 и 47-м годах. Писал я о том же, но не то же. Общий подход и оценка оставались прежними, но содержание было разное: на каждом отклике лежал отпечаток времени. И сейчас, глядя на Февраль из сорокалетнего далёка, могу повторить основное сказанное прежде, с учетом происшедшего за последнюю «декаду».

#### **1917–1927**

Когда минуло первое десятилетие, я дал в «Современных записках» (т. 31) своего рода апологию Февраля, каким я его пережил и осознал<sup>1</sup>. В самом общем виде намечены были социальные и политические причины, обусловившие революцию, и внутренний, исторически-непреодолимый смысл Февраля, несмотря на превратности последующей его судьбы. Этот смысл мне виделся в том, что Февраль был *национальной революцией*. И не только потому, что в нее вложились все народы России, все классы и все политические, общественные, религиозные группировки и даже официальные учреждения. То была национальная революция и потому, что впервые в истории России народ — или народы России — из объекта управления превратились в субъект властвования. Впервые ощутили они себя как целое или единство, неотменимое никакими последующими искажениями или потерей лица. Февраль был не только эпилогом трехвекового периода русской истории. Он был, как мне казалось и кажется, и прологом к будущему России, неотделимому у каждого народа от его национальной революции.

Изложение смысла Февраля я сопровождал сравнением того, что выдающиеся русские люди говорили о февральской революции под непосредственным впечатлением от нее, по живым следам, и что те же лица говорили о ней позднее, после неудачи Февраля и личных разочарований,

Когда произошла революция, кн. Евг. Трубецкой писал: «Революции национальной в таком широком понимании, как нынешняя, русская, доселе не было на свете». Февраль благословлялся всеми и считался благословенным. З. Н. Гиппиус позднее вспоминала, как «печать богоприсутствия лежала на лицах всех людей, преображая лица. И никогда не были люди так *вместе*, ни раньше, ни после». И даже не в первые дни и недели после Февраля, а несколько позднее, П. Б. Струве отмечал: «Мы все испытали громадный и спасительный нравственный толчок... Мы пережили историческое чудо... Оно прожгло, очистило и просветило нас самих».

Прошло всего несколько лет, и для того же автора русская революция обернулась «загадкой». Оказалось, не «объективные условия народа» вызвали революцию и вовсе не народ ее делал, — народ «гораздо более жертва революции, чем ее делатель», «в известном смысле “народ” абсолютно бесспорен, лишь поскольку он сдан в мертвецкую истории», он не творец истории, а «в известном смысле творится и должен быть творим». И революция была «государственным самоубийством русского народа»<sup>2</sup>, «всего больше глупым делом». За Струве последовал его друг, философ С. Л. Франк, сделавший еще более широкое обобщение: «телеологически и исторически» всякая революция всегда безумие, болезнь, «бессмыслица и потому преступление» («Русская мысль» № 1 за 1921 г. и № 6 за 1923 г.).

Это были вершины — или великаны — русской философской и социологической мысли. Их ученики и последователи, К. О. Зайцев, И. А. Ильин, С. П. Мельгунов и др., стали после этого как бы состязаться в том, кто задним числом возведет на Февраль более резкую и яркую хулу. Это была не только антиисторическая оценка, проходившая мимо реальных условий, в которых революция произошла. Это была и тенденциозная, несправедливая оценка: судили и осуждали Февраль не за его лишь грехи и преступления, свершенные в ходе событий, а и за грехи и преступления Октября, Февраль разгромившего. Привычным стало преобразование во времени (*после* Февраля — Октябрь) подменять причиннозависимостью — Октябрь следствие или порождение Февраля.

Хулители Февраля, конечно, отлично знали, что «после» не равнозначно «вследствие», и прегрешения Февраля они не вме-

няли в вину предшествовавшему режиму. Наоборот, они подчеркивали, что Февраль есть отрицание дореволюционного порядка и прямая ему противоположность. Ничего другого не утверждали ведь и сторонники Февраля, когда доказывали, что между ним и Октябрем такая же пропасть, как и между ним и самодержавием, и что Октябрь никак не «вытек» из Февраля, а был его предельным отрицанием. То, что возникло после Февраля, оказалось во многом хуже того, что было. Октябрь был в известном смысле возвращением к дофевральскому периоду русской истории. И в новой экономической политике напрасно стали усматривать начало конца большевизма, спуск на тормозах, «термидор».

### 1927–1937

Следующее десятилетие принесло две «пятилетки» с коллективизацией деревни, истреблением кулака и подкулачника «как класса», созданием новой социальной группы «беспризорников», «организованным понижением культуры» и первым публичным процессом старых большевиков. Наряду с этим Сталин отметил «головокружение от успехов», даровал ряд ничтожных милостей крестьянству и, главное, опубликовал новую «демократическую» конституцию 36-го года с правами человека и гражданина, четыреххвосткой и проч.

Оптимисты во что бы то ни стало опять решили, что все худшее позади — неминуемо наступление новой эры. Даже такой непримиримый к большевизму орган, как «Новая Россия» А. Ф. Керенского<sup>3</sup>, отдал дань охватившим эмиграцию настроениям. Редакция обратилась через голову советской власти с воззванием «К стране». В обращении говорилось: «Мы хотели бы верить, что принятие новой конституции будет поворотным моментом также и в истории нашей родины». И уже не в качестве исповедания веры, а положительной меры рекомендовалось — и жирным шрифтом подчеркивалось: «Нужно участвовать в выборах и воспользоваться всеми возможностями для проведения своих требований» («Новая Россия» № 16 от 15. XI.36). Такое легкоеверие, конечно, не всеми разделялось.

Итоги тому, что получилось после двадцатилетнего властвования большевиков, я пробовал подвести в небольшой статье «Двадцать лет спустя» в «Русских записках» (№ 1). Коснулся я всех трех основных проблем — мира, земли и воли, — которым Октябрь дал свое разрешение. И моим выводом было: несмотря на фактическое торжество большевизма, по существу, идейно, крушение потерпел он, а не поверженный им в прах Февраль.

Мы, люди Февраля, писал я, были за скорейшее окончание войны, — но в рамках общего мира, а не сепаратного, предательского, отнюдь не выведившего страну из войны, а только перебрасывавшего Россию из внешней войны в войну гражданскую. Таков был план Ленина еще с 1915 года, и он был полностью осуществлен. Гражданская война продолжалась, когда мировая война давно уже кончилась, — не в результате мировой революции, как рассчитывал и предсказывал Ленин, а благодаря победе «империалистов», бывших союзников России. За два года до того, как началась Вторая мировая война, я ощущал, что «и по сей день Россия продолжает быть одним из главных возбудителей военной тревоги, треплющей Европу».

В течение многих лет большевики только и делали, что издевались над «империалистической» Лигой Наций. А к чему пришли? Сами стали напрашиваться в эту Лигу, чтобы через четыре года, после коварного нападения на Финляндию, быть из Лиги изгнанными<sup>4</sup>.

Не лучше обстояло дело с разрешением земельного вопроса. Октябрь как будто передал землю трудящимся, но тут же стал отбирать у них плоды земли при помощи своих «комбедов» и «продотрядов». Последующая же коллективизация деревни сопровождалась, как известно, уже отобраением «рабоче-крестьянской» властью не одних только продуктов земли, но и самой земли. Крестьянству Октябрь обошелся кроме того в 10 миллионов жертв голода 21–22 и 32–33 гг. Февраль стоял за радикальное решение земельной проблемы, но не путем прямого действия — «грабь награбленное» — и потакания стихии, а посредством планомерной передачи земли, в согласии с исконным крестьянским правосознанием и с утверждения Всероссийского Учредительного собрания. Кто же был более прав: Октябрь или Февраль?

То же можно сказать и относительно государственного устройства. Февраль утверждал личную свободу и демократическое управление на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Октябрь пришел с категорическим отталкиванием от этих начал как злостной выдумки буржуазии. Утверждения Октября покоились на отрицании Февраля и того, что утверждал последний. Так, Февраль проектировал Декларацию прав человека и гражданина, а Октябрь — как бы в пику Февралю — надумал свою «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Стала превозноситься советская система, основанная на не-всеобщем, не-равном и не-прямом голосовании, — возвращавшаяся к давно изжитым образцам куриального представительства не граждан, а групп, социальных и территориальных (фабрик,

воинских частей, железных дорог, кооперативов). Ленин считал попытку сочетать советскую систему с демократической — «нелепой», «вскрывающей до основания духовное убожество желтых социалистов и социал-демократов, их реакционную мелко-буржуазную политику».

Советская система возникла в анархический, или пугачевский, период Октября, в период хаоса и импровизации. И она была объявлена исключительно благостной, социалистической формой правления.

Но пугачевскому периоду Октября пришел на смену аракчеевский, и первоначальная советская система полетела вверх тормашками. Новая конституция сохранила прежнюю монополию коммунистической партии на управление, но официально реабилитировала и демократию, и четыреххвостку<sup>5</sup>, и личные права человека и гражданина. По образцу всех «буржуазных» конституций и в советской конституции появилась особая глава X-я об «Основных правах и обязанностях граждан» и исключена была искусственно надуманная «Декларация трудящегося и эксплуатируемого народа». Отныне именно новый вариант советской системы управления признан был единственно благостным и социалистическим.

Можно ли после этого отрицать, что Октябрь идейно капитулировал перед тем, что защищал Февраль — капитулировал, конечно, скрывая это и обманно выдавая то, к чему он пришел, за якобы нигде небывалое и лишь Октябрем последовательно осуществленное?

С идейной капитуляцией Октября и начавшейся одновременно расправой с его виднейшими творцами, Каменевым, Зиновьевым, Ив. Смирновым и другими, от Октября стали отходить даже его бывлые приверженцы. И внешне возникала аналогия с обстановкой, предшествовавшей Февралю, когда от самодержавия стали постепенно отходить не только рабочие, крестьяне и разночинная интеллигенция, но и знать, монархически настроенные члены Государственной Думы, Государственного Совета, Синода, целые линии царствовавшей семьи — «Владимировичи», «Михайловичи», «Павловичи».

И в 37-м году можно было задать вопрос: кто же с гениальным и незаменимым «отцом народа», не страха ради, а за совесть и по убеждению? Какие классы, группы? Рабочие? Молодежь? Большевики партийные или беспартийные?.. После «случая» с Ягодой Сталин не мог быть вполне уверен даже в террористическом своем аппарате. Как и двадцать лет перед тем, «долгой» объединяло громадное большинство российского населения.

Но что противопоставить в качестве положительного призыва, оставалось неясным: у каждой группы было свое «во имя» и свое «да здравствует»! «Контрафорсы» противников подпирали режим, умышленно создававший всеобщий разброд и распыление.

Выводом из двадцатилетней практики Октября я считал наглядный «показ» миру, что такое мнимый социализм. Как на уроках лже-конституционализма мир извлек поучение о конституционализме подлинном, так, надеялся я, на уроках лже-социализма мир познает, как невозможно и как не следует строить социализм. Мне представлялось, что, может быть, в этом и раскрывается исторический смысл эпохи и лишений, пережитых Россией, — «великий урок для отдаленного поколения», как писал Чаадаев об эпохе Николая I. Все это было до Второй мировой войны, открывшей собой новую эпоху.

После первого десятилетия Февраля я писал, что он представляется нам не таким, каким все мы его знали и пережили: многое для нас переставилось, многое стало чувствоваться по-иному, многое по-иному и осознаваться. После второго десятилетия эпиграфом к своей статье я взял слова Герцена: «Мы не знали того, с чем вступали в бой, но бой приняли. Сила сломила в нас многое, но она нас не сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на все ее удары».

### 1937–1947

Февралю исполнилось 30 лет после Второй мировой войны. К тому времени в России более 80% «работников умственного труда» составляли, по советским данным, люди, «прошедшие школу воспитания уже в советскую эпоху». Другими словами: «две трети действующих в России сил — в возрасте 35 лет и являются продуктом советского воспитания». Они не помнили Февраля и знали о нем лишь понаслышке или по карикатурному изображению и злостному истолкованию сталинскими историками-лауреатами. И в эмиграции все убывало число живых свидетелей Февраля. Да и из тех, кто остались, многие были ошеломлены неожиданными победами советского оружия и народов России под советской властью. Время и победы смягчали отношение к Октябрю.

Разум, как известно, услужливый сводник, и в меру смягчения отношения к Октябрю умалаялся в историческом значении — политически, социально, национально — и Февраль.

Даже убежденные антикоммунисты и светлые головы отдали дань патриотическому угару. Незадолго до своей смерти П. Н. Милюков в «Правде о большевизме» 1942 г. заявил, что февральская революция «подготовила Брест-Литовск и раздел

России»; Октябрь же был «настоящей революцией в собственном смысле слова, разрушительно-творческой и органической частью русской истории». По существу, это было повторением тезиса Милюкова, высказанного еще в 1927 г. в «России на переломе», будто всякая революция *должна* следовать своему неизбежному курсу и не может остановиться на середине. Революционный пожар *должен* выжечь дотла все, что уцелело от низвергаемого порядка» (Подчеркнуто Милюковым. Т. 1, стр. 41). Правда, в 29 г., в очерке, посвященном памяти А. И. Шингарева, П. Н. Милюков говорил другое — о «прямой дороге», с которой свернул Октябрь и на которую «Россия должна вернуться, чтобы продолжить свое историческое шествие по правильному, широкому, хотя и долгому, пути» («Памяти погибших». Сборник, стр. 44)<sup>6</sup>. Но это было лишь личной непоследовательностью.

И философ культуры Н. А. Бердяев, одно время проклинавший и Февраль, и Октябрь, теперь утверждал: «Принятие февральской революции и отвержение революции октябрьской есть непонимание исторического процесса, — непонимание того, что революция едина и имеет разные стадии своего разворачивания» («Русский патриот» № 16. Май 1945 г.).

Одни Февраль позабыли. Другие его исказили, растворили и утопили в Октябре. И руку к тому приложили не одни только зубры или большевики.

Обо всем этом я упоминал в «Новом журнале» в 47 г., возвращаясь мыслью к Февралю «из тридцатилетнего далёка»<sup>7</sup>. Однако главной темой статьи было другое: стоило ли вообще делать революцию? Надо ли было свергать самодержавие, чтобы получить не взамен, а хотя бы в итоге советский строй с диктатурой партии и получить не на недели и месяцы, как были убеждены все, все, все, — от жандармов и ненавистников революции справа и до Ленина с Троцким, — а на годы и десятилетия, которым не видать еще конца? Следовало ли повторить слова Шингарева, записавшего 5 января 18 г., в дневник, который он вел в Петропавловской крепости: «Я не жалею о происшедшем. *Готов повторить его* (подчеркивал Шингарев) и не опасаясь будущего... Я приемлю революцию, и не только приемлю, но и приветствую, и не только приветствую, но и утверждаю»?

А. И. Шингареву только краешком глава дано было видеть Октябрь в его первые «героические» месяцы. Он не мог предвидеть ни того, что через сутки после своей записи будет с Ф. Ф. Кошкиным зверски умерщвлен в больнице, ни Брестского мира, ни затянувшейся на годы гражданской войны, ни людоедства 1920–21 и 1932 годов, ни людодерства ВЧК, ОГПУ, НКВД и МВД,

ни пыток, ни казни 12-летних, ни рабского труда в концлагерях, ни «спаянной дружбы» с Гитлером, сопровождавшейся новой мировой войной с миллионами убитых и искалеченных, физически и морально, с газовыми камерами и прочим. Шингарев считал, что «наивно и близоруко думать, что революцию можно *делать или не делать*: она происходит и начинается вне зависимости от воли отдельных людей». Более спорно его утверждение, что «когда революция произошла, бесцельно говорить, хорошо это или плохо». Практически это, конечно, «бесцельно» в отношении к уже происшедшему. Но как отнестись к возможной в будущем революции? Как быть *до* того: желать ли ее? Способствовать ли ей в меру возможности?

Как следовало ответить на этот вопрос в 47-м году в свете пережитого тридцатилетнего опыта? Уже задолго до этого — не помню точно, когда и в каком органе — я упомянул, что «любовь к революции мы давно потеряли», — что вызвало отповедь со стороны бывшего моего лидера В. М. Чернова: «Взаимность в этом деле ему (Вишняку) вполне обеспечена... Революция разлюбила его еще раньше, чем он разлюбил революцию» («Революционная Россия» № 65 за 1928 г.)<sup>8</sup>. Но признание в любви или не-любви не было ответом на вопрос. В статье «Из тридцатилетнего далёка» я точнее и в общем виде утверждал, что, судя по итогам, революцию делать не стоило.

Революция ищет для себя оправдание в том, что способствует прогрессу, росту грамотности, индустриализации, политическому самосознанию. Но и это не всегда случается, а когда случается, «издержки производства» столь огромны, что результаты их не оправдывают. Со времени Герцена революция признается наименее желанной, а со времени Жореса и «варварской формой прогресса», — «отчаянным средством». Серьезные исследователи доказывают, что двадцать пять лет кровавой диктатуры привели Россию демографически, индустриально и культурно, в смысле элементарной грамотности, приблизительно к тому же, к чему она пришла бы и без революции, развивая наметившиеся раньше тенденции. Сослагательное наклонение с частицей «бы», конечно, не может не произвести неблагоприятного впечатления. Но если бы даже расчеты исследователей были неверны и завоевания революции были бы неизмеримо больше того, к чему страна могла бы прийти без революции, неопровержимым остается, что *политически* Октябрь вернул Россию по меньшей мере на столетие назад, — ко времени Николая I, если не Павла. Здесь «прогресс» обернулся явным и ужасающим регрессом: Октябрь унизил человека и извратил все его духовные ценности — идеи демократии,



социализма, гуманизма были использованы для прикрытия небывалой в истории тоталитарной диктатуры.

Другое дело февральская революция. Она была не только вестью о свободе, но ее апофеозом — для человека, для трудящихся, для иноверцев и иноплеменников. В излишестве свободы, в несоподчиненности ее другим ценностям сказался в значительной мере порок Февраля, — к своей власти народ оказался особенно требовательным, не мирился ни с какими ограничениями. Политически прогресс Февраля по сравнению с предшествовавшим и последовавшим за ним режимами может оспаривать лишь тот, кто забыл прошлое: «громадный и спасительный нравственный толчок», то «чудо, которое прожгло, очистило и просветлило нас самих» после Февраля, — и ужасы и казни, которые сопровождали Октябрь.

За тридцать лет Россия как бы завершила круговорот, предусмотренный Временным правительством. В обращении, опубликованном 26 апреля 1917 г., Временное правительство предостерегало: «Перед Россией встает страшный призрак междоусобной войны и анархии, несущей гибель свободы. Есть мрачный и скорбный путь народов, хорошо известный истории, — путь, ведущий от свободы через междоусобие и анархию к реакции и возврату деспотизма». Это было вещее предостережение: Россия прошла свой скорбный путь до конца, и после второй войны она оказалась перед многими из тех же проблем, которые стояли пред Февралем. Все благие надежды, что после Второй Отечественной войны «не может» не произойти того же, что произошло после Первой Отечественной, увы, не оправдались. СМЕРШ Берии был восполнен культурной ежовщиной Жданова. И снова воскрес старый вопрос: как выйти на путь свободы? Коммунистическое самодержавие оказалось бездушнее и гнуснее царского. «А в таком случае, — заключал я статью, — России как будто вновь не избежать наименее желанного, варварского пути развития». «Эволюция», которая желательна, может оказаться невозможной, и тогда снова станет неминуемой революция.

## 1957—

И из сорокалетнего далёка основное в оценке Февраля представляется нерушимым.

С течением времени, располагающим к историческому подходу, — что не дано современникам, — учащаются попытки даже со стороны сторонников Февраля признать его крушение как бы предрешенным: он будто бы с самого начала был обречен.

Сознательно или бессознательно такое утверждение покоится на мнимо-научном основании: что было, было неминуемо и потому не могло не быть, иначе его не было бы.

Предрешенность — или обреченность Февраля — видят в разном: в том, что, будучи отсталой, безграмотной, экономически слабо-развитой и политически невоспитанной, Россия не могла справиться с поставленными революцией громадными задачами. Обреченность была предрешена и тем, что война должна была «съесть» Февраль, ибо он не был в состоянии «съесть» войну. На бесчестный сепаратный мир Февраль не мог и не должен был пойти, а общий мир «без аннексий и контрибуций с признанием права на национальное самоопределение» исключался политикой союзных с Россией стран.

Именно так склонен объяснять трагическую судьбу Февраля С. М. Шварц. Свою статью в февральском номере «Социалистического вестника» автор озаглавил «Обреченность февральской революции». Она носит некрологический характер и, вопреки желанию автора, может быть понята как косвенное оправдание Октября, — не морально-политическое, конечно, а историческое. Ибо если Февраль был обречен, октябрьская метла сделала положенное историей дело.

Подчеркиваю: С. М. Шварц такого вывода не делает. Больше того: содержание статьи опровергает ее заглавие. Там говорится, что «обреченность (февральской революции) не была абсолютной». Это равносильно утверждению, что она вовсе не была обречена: не-абсолютная обреченность перестает быть обреченностью, ибо допускает возможность и некатастрофического исхода революции.

К своему выводу об обреченности Февраля Шварц пришел на основании докладной записки государю председателя 4-й Государственной Думы Родзянко о «катастрофическом» положении продовольствия, топлива, транспорта и т. д. Если такие люди, как председатель Государственной Думы, московский городской голова, общество фабрикантов и заводчиков впали в «панику», — «дальше, кажется, некуда было идти. Россия находилась на краю пропасти», — заключает С. М. Шварц.

Это так, и это совсем не так.

Это так, если исходить из *психологии* того времени, — какое впечатление продовольственная и иная нужда производила на уставшее от двух с половиной лет войны население и как оно реагировало на неурядицу. И это совсем не так, если припомнить, что Россия не только накануне Февраля, но и в течение последующих восьми месяцев все-таки питалась, передвигалась, не замерзала

и как-никак вела войну\*. Покойный М. А. Алданов как-то заметил, что о «продовольственных затруднениях» как «причине революции» историку после 1920 г. писать «будет неловко». Алданов тоже был прав и неправ. Продовольственное положение накануне революции не исчерпывалось одними «затруднениями», оно было весьма неблагополучно. Но никакого «вулкана», на котором мы будто бы тогда сидели, или «края пропасти», которая перед нами «разверзлась», конечно, не было. И положение не могло идти ни в какое сравнение с общим параличом хозяйственной жизни, голодом и холодом, которые принес Октябрь\*\*.

Основания, которые приводят в доказательство обреченности Февраля, спорны фактически и по существу. Революцию всегда вызывают оскудение и нужда, а не экономическое благоденствие и культурное процветание. Потому и происходят тогда революции, что нет иной возможности изменить нестерпимые условия жизни и жителей превратить в граждан. Одно просвещение еще не гарантирует благополучного исхода революции. Прославленный прусский учитель и немецкая аккуратность с организованностью в придачу не облагородили нацистской революции и не предотвра-

---

\* Летом 17-го года численность германских армий на русском фронте превышала численность их на протяжении всего предыдущего времени, — удостоверял отчет русского Верховного Командования от 19 сентября 17 г. союзному командованию. «18 июня численность вражеских дивизий на русско-германском фронте была та же, что 27 февраля (т. е. накануне революции. — М. В.). Когда же бои в Западной Галиции и Буковине были в разгаре, вражеские силы были увеличены на 9½ пехотных дивизий. При этом увеличение произошло за счет германцев, число же турок и австрийцев уменьшилось». — Цитирую по книге Ф. Керенского «The Crucifixion of Liberty». Лондон, 1934. Стр. 349.

\*\* Свидетельствую об этом не только как современник-очевидец, но и как сопричастный, косвенно, к представленной Родзянко записке. Эта записка опиралась, в частности, на доклад о продовольственном положении городов, представленный государю городским головой Москвы М. В. Челноковым, занимавшим в то же время должность Главноуполномоченного Всероссийского Союза Городов.

В «Дани прошлому»<sup>9</sup> я рассказал, как по инициативе заведовавшего Экономическим Отделом Союза Городов В. Г. Громана произведена была летучая анкета или «моментальный снимок» с продовольственного, топливного и иного положения городов. Анкетёры, и я в их числе, разъехались в разные концы и в десятидневный срок вернулись с итогами своего обследования. По независевшим от меня обстоятельствам именно мне было поручено в экстренном порядке обработать поступившие данные, составить доклад и вручить его Челнокову, уезжавшему в Петроград. Доклад, мною составленный, помечен 10 февраля 1917 г. и был напечатан, — конечно, без моей подписи — в очередном номере «Известий Всероссийского Союза Городов», вышедшем уже после февральской революции.

тили ее бесславного конца. Конечно, и экономическая разруха, и безграмотность, и самочинство масс, как и неподготовленность руководителей или упорство западных держав чрезвычайно осложнили ход февральской революции и фактически сыграли в руку Октябрю. Но не это было решающим.

«Выхода из положения вне окончания войны не было», — подчеркивает жирным шрифтом Шварц. Но и война вовсе не непременно должна была кончиться так, как она кончилась. Истощена была Россия. Но истощены были и Австрия, и Турция, и Болгария, и сама Германия. Шло молчаливое состязание на скорость истощения и на первенство в предложении мира. Временное правительство накануне Октября имело все основания ожидать такого рода предложения. Отказ России от Константинополя и Дарданелл усилил тяготение Турции к выходу из войны. К тому ее подталкивали М. И. Терещенко из Петрограда и американские дипломаты в Константинополе, — с Турцией (и Болгарией) США не находились в состоянии войны. Мира с Турцией ждали в ноябре. Болгария всегда была наименее надежным звеном в цепи центральных держав. Об Австрии маршал Гинденбург писал в воспоминаниях, что подавляющая часть ее войск «летом 1917 г. была менее расположена к отражению русского наступления, чем в 1916-м году». Австрийский министр иностранных дел Чернин и зять императора Сикст Пармский вели секретные переговоры о мире с Клемансо и Ллойд Джорджем.

И в самой Германии не все было благополучно. О том свидетельствует тот же Гинденбург, жалуясь на постепенное разложение армии и предвидя, что вступившая в войну на стороне союзников Америка чем дальше, тем энергичнее станет развертывать свои силы. Германский министр иностранных дел Кюльман уже нащупывал, чрез испанского посла маркиза де Виллалобара, условия, на которых Англия согласилась бы заключить мир. Это было в конце августа — начале сентября. Стороны разошлись из-за Эльзаса и Лотарингии, которые Вильгельм отказывался вернуть Франции.

Если даже считать, что ожидания Временного правительства были преувеличены, все-таки каждый лишний месяц, что Россия продолжала держать фронт, увеличивал шансы Февраля на то, что ему в конечном счете удастся «съесть» войну. И Шварц признает: «Если бы Временному правительству удалось продержаться еще немного месяцев и добиться общего мира, демократическая революция была бы спасена». О какой же обреченности в таком случае может быть речь?!

Заслуживает внимания указание Шварца на то, что Ленин «лихорадочно торопил ЦК, требуя от него решения о немедлен-

ном перевороте, не дожидаясь созыва назначенного на вторую половину октября съезда советов». «Нетерпение» Ленина Шварц объясняет тем, что «ему начало казаться, что дело идет к соглашению между союзниками (т. е. и Россией) и Германией». Это объяснение полностью совпадает с мнением, высказанным еще в 1934 г. А. Ф. Керенским, и раньше, и сейчас самым решительным образом отрицающим «обреченность» Февраля. В выше цитированной весьма интересной книге Керенский, как и Шварц, подчеркивает совершенно исключительную настойчивость, с которой Левин в сентябре-октябре «гнал» своих единомышленников к немедленному свержению Временного правительства. Почему? Потому что никто в России, кроме членов правительства, и не подозревал, что ведутся секретные переговоры о мире. Но Ленину, скрывавшемуся в Финляндии, это стало известно от Ганецкого, который находился в сношениях с германским послом в Стокгольме Люциусом, — свидетельствует А. Керенский («The Crucifixion of Liberty», p. 384–386).

Что и говорить, помимо объективных причин, препятствовавших благополучному завершению Февраля, были и личные заблуждения, ошибки, прекраснодушие, непредусмотрительность и прочие дефекты и пороки руководителей. Никто из них этого не отрицал, — а некоторые и печатно это признавали. Но решающим фактором было не это, а — большевики с их обманом, лицемерием, коварством, демагогией и насилием. Непростительной, даже преступно-легкомысленной была терпимость руководителей Февраля к творцам будущего Октября. Но у кого было достаточно убедительных доказательств — англо-саксы называют это «evidence», — к тому, что именовавшие себя демократами-социалистами не только питают, но и близки к осуществлению своего дьявольского плана?! В февральскую эпоху они и сами, может быть, не проектировали применение к несогласным заложничества, пыток и массовой «ликвидации». И в начале, и в конце февральской эпопеи будущие творцы Октября отмечали, что Россия стала «самой свободной страной в мире из всех воюющих стран», что она «по своему политическому строю догнала передовые страны» (Ленин), что «нигде у пролетариата не было и нет таких широких организаций» (Сталин). И большевики-историки отмечали то же: Россия «пользовалась максимумом свободы... перешла к почти полной политической свободе... Широкой свободой агитации пользовались представители самых крайних политических течений» (История ВКП (б) под редакцией Ем. Ярославского. Т. IV, стр. 52. — 1929).

И против такого строя Ленин и его соратники подняли свои преступные руки, на обломках Февраля воздвигнув свое самов-

ластие — диктатуру партии, монополизировавшей в свою пользу власть. В этом, в удачливой подготовке заговора, замаскированного демагогическим воздействием на утомленные и легковерные массы, ничтожное меньшинство коих вняло обманному призыву, а большинство оставалось пассивным, выжидая и «держа нейтралитет», — в этом был главный фактор, определивший поражение Февраля и торжество Октября.

В до-октябрьское время большевики неизменно обличали всех других в том, что те хотят гражданской войны или «объективно» к ней ведут. Но когда советская власть почувствовала себя прочно, она опубликовала протоколы ЦК и другие документы, свидетельствовавшие с полной очевидностью, что Ленин всячески подстрекал своих единомышленников — что делаешь, делай скорей! А в 24-м году Сталин совершенно открыто признал, что Октябрь «маскировал свои наступательные действия оболочкой обороны для того, чтобы тем легче втянуть в свою орбиту нерешительные, колеблющиеся элементы» (Сочин. Т. 6, стр. 342).

Только что опубликованы в «Коммунисте» (№ 1 за 57 г.) интересные воспоминания умершего в 1948 г. Н. И. Подвойского, председателя военной организации большевиков и Военно-революционного комитета в дни октябрьского восстания. Воспоминания озаглавлены «О военной деятельности В. И. Ленина». Здесь описывается исключительный хаос и неразбериха, царившие на большевистском фронте. Волынский и другие полки решительно отказывались исполнять приказы Подвойского, Крыленко и других. Подвойский комментирует: «Я почувствовал, как начал трещать вследствие этого отказа фронт нашей обороны». Положение спас Ленин, его фанатизм и магнетическое воздействие. Обожавший своего лидера Подвойский вспоминает, как «Ленин страшно рассвирепел, лицо его сделалось неузнаваемым, он вонзился в меня своими острыми глазами и сказал, не повышая голоса:

— Вы ответите перед ЦК, если полки не будут сейчас же выведены. Слышите, сейчас же!

Я пулей вылетел из комнаты».

В другом случае: «Ленин вскипел как никогда.

— Я вас предам партийному суду, мы вас расстреляем! Приказываю продолжать работу и не мешать мне работать.

Пришлось примириться».

Это и смешно, и трагично. Такой манеры обращения в свободных политических партиях, конечно, не существовало. Но в октябре 17-го года именно она дала большевикам победу. Волынцы выступили «в поход» на Царское Село и Гатчину — «против Керенского». «Отряд матросов, преследовавший бронированный

поезд Керенского, почти целую ночь простоял в ледяной воде, подстерегая этот поезд». Вдохновляясь примером «гениального полководца», как он называет Ленина, Подвойский «настаивал на предании Дыбенко суду» и т. д.

Казалось бы, не подлежит уже спору, кто и какими средствами вызвал гражданскую войну, приведшую большевиков к «триумфальному шествию по России», по выражению Ленина. Однако и по сей день советская печать воспроизводит версию, самими же большевиками отвергнутую: «Гражданскую войну навязала нам буржуазия. Класс-агрессор напал на мирных людей труда», — пишет В. Перцов, поминая Всеволода Вишневского в «Новом мире» (№ 9 за 1956-й год).

Жажды свободы и упоения ею оказалось, увы, недостаточно для предотвращения заговора против Февраля и утверждения октябрьской тирании.

...Все это может показаться  
Смешным и устарелым нам,  
Но, право, может только хам  
Над русской жизнью издеваться.  
Она всегда — меж двух огней.  
Не всякий может стать героем,  
И люди лучшие — не скроем —  
Бессильны часто перед ней.

*(Возмездие А. Блока)*

\* \* \*

Сорок лет, как могу, защищаю я в печати Февраль. Февраль покончил с режимом самодержавия. Февраль подготовил передачу земли трудящимся. Он дал рабочим лучшие условия труда и независимые профсоюзы. Он признал свободу и равенство без различия пола, исповедания, этнического происхождения. Это он организовал местное самоуправление и выборы во Всероссийское Учредительное собрание на основе последовательной демократии. Это он оформил национальное самосознание России.

И тем не менее память о Феврале тускнеет. Даже непримиримые противники Октября внезапно стали ощущать обреченность Февраля. Но что можно ему противопоставить? К чему может прийти Россия, когда она избавится наконец от большевистской тирании? Какие мыслимы возможности?

Монархия? Какая? Английского или скандинавского типа покоится на многовековой политической культуре. Для нее в нынешнюю атомную эпоху уже все сроки упущены. Монархия былая, легитимная?.. После сорокалетнего пребывания под советским

абсолютизмом как будто выкорчеваны все ее бытовые, психологические и легальные корни.

Если не абсолютизм одной и единственной партии и не абсолютизм монархический, то что же — что вообще мыслимо? Теократия? Но в многоисповедной России и это как будто исключено, даже если этому пережитку ветхого завета и удалось бы собрать под свое знамя не только мудрствующих одиночек.

В исторически обозримом будущем единственной перспективой, имеющей за себя морально-политическое и реалистическое основание и в то же время созвучной как новому времени, так и прошлому России, является возвращение к общим принципам Февраля. Еще в 1929 г. А. Ф. Керенский, заявив себя «непримиримым противником повторения исторической действительности февральского периода русской революции», высказался «против исторически данного Февраля во имя Февраля, *заданного* нам историей» («Дни» № 58).

Это представляется мне правильным и сейчас. И не потому только, что люди Февраля «в дни тягостных раздумий о судьбах родины» утешают себя, что те, кто придут после них, будут удачливее и откроют новую эру в истории России. Нет, мы думаем в то же время, что русский народ и его интеллигенция никогда не переставали стремиться к свободе и справедливости. Как утверждал в самом начале первой революции — 9 октября 1905 г. — Витте, не краснобай, а человек дела, «человек всегда стремится к свободе. Человек культурный — к свободе и праву, к свободе, регулируемой правом и правом обеспечиваемой».

Февраль пытался осуществить это стремление. Это не удалось, как многое не удавалось в русской истории, — как не удалось, по словам Бердяева, дело всей новой истории. Задание не было выполнено. Это бесспорно, но это никак не отменяет нашей твердой веры и убеждения, что вечное в Феврале не может не осуществиться.

